

Алексей Чапров

Сын Духа Святого

Алексей Хапров
Сын Духа Святого

«Издательские решения»

Хапров А.

Сын Духа Святого / А. Хапров — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-833917-2

Жизнь даётся человеку всего один раз. И нет больше чувства, чем осознание того, что ты прожил её зря и что после тебя в этом мире не останется ничего, даже простой доброй памяти. Где оно было, наше счастье? И в какой мы его упустили момент? А если нам представится ещё один шанс? Сможем ли мы как следует прожить свою жизнь заново? И не проявит ли себя снова заложенная в нас с рождения червоточинка? Пусть даже в самый последний момент.

ISBN 978-5-44-833917-2

© Хапров А.

© Издательские решения

Содержание

Часть первая	6
Глава первая	6
Глава вторая	11
Глава третья	14
Глава четвертая	20
Глава пятая	25
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Сын Духа Святого

Алексей Хапров

© Алексей Хапров, 2019

ISBN 978-5-4483-3917-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть первая

Исповедь

Глава первая

Серый от скопившейся на нем за много лет грязи потолок, на отдельных участках которого уродливо выделялись штукатурные облупленности, был весь усеян мухами. Собственно, мухи были не только на потолке. Они находились везде. Они сидели и на стенах, и на окне, и на полу. И, судя по тому, как они неспешно разгуливали, как, не торопясь, перелетали с одного места на другое, чувствовали они себя здесь весьма комфортно, по-хозяйски. Их уверенность в собственной безопасности красноречиво подтверждал тот факт, что, несмотря на открытую в окне форточку, они явно не рвались на волю. И дело тут было не только в непогоде, разыгравшейся за окном, – при сильном дожде и ветре оказаться на улице вряд ли захочется даже насекомым, – но и в том, что они вполне обоснованно считали эту квартиру своим домом. Они обжили ее уже довольно давно, и их отсюда никто не выгонял.

Квартира была сильно запущена и представляла собой убогое зрелище. По царившей в ней разрухе, она ни то что не напоминала человеческое жилье, она не походила даже на просто обитаемое кем-то помещение. И, тем не менее, в ней жили, хотя здесь явно требовался капитальный ремонт. Потолок нуждался в побелке. Старые, отклеившиеся кое-где обои сияли потертостями. Краска на окне и на подоконнике сильно пожелтела и потрескалась. Батареи «кровоточили» ржавчиной.

Что касается мебели, то она практически отсутствовала. Все вещи хозяина были разложены по большим мусорным пакетам и беспорядочно свалены в углу комнаты. Из того, что можно было считать мебелью, здесь имелаась только раскладушка, которая стояла у окна. На ней, закрыв глаза и уткнувшись лицом в подушку, лежал худой, изможденный, давно не брившийся человек с мертвенно бледным лицом. Со стороны могло показаться, что он либо крепко спит, либо вообще умер. Но это было не так. Человек был жив, он бодрствовал, но находился в состоянии раздвоения сознания и тела. Тело его присутствовало здесь, а вот сознание витало где-то далеко. Он полностью отрешился от окружавшей его действительности и мучился от тяжелых мыслей, переполнявших его мозг...

Как бы мне хотелось и дальше продолжать это повествование в третьем лице, как будто я всего лишь сторонний наблюдатель, рассказчик, и все беды, обрушившиеся на этого человека, меня не касаются. Но сие, наверное, будет неправильным, ибо, как ни горько это признавать, я только что описал самого себя.

Мою душу терзало страшное, безнадежное отчаянье, которое усиливалось чувством полнейшей безысходности. Я с ужасом осознавал, что мечтаю о смерти. Положение, в котором я очутился, ничего другого не навевало. Есть такое устойчивое выражение – стоять на краю пропасти. Так вот, я уже не стоял на краю пропасти. Я уже слетел вниз и достиг дна.

Я был голоден. Мой желудок не знал пищи уже пятый день. Денег не было. Взять их было неоткуда. Все сбережения были истрачены. Все, что можно было продать: мебель, бытовая техника, посуда, одежда, – было уже продано. Но самое главное, у меня не осталось ни малейшей надежды, что моя жизнь может хоть как-то измениться в лучшую сторону. У меня не было абсолютно никого, к кому бы я мог обратиться за помощью, за поддержкой: ни родственников, ни друзей, ни даже простых приятелей. Меня все чурались и сторонились. Даже те, с кем я когда-то, так или иначе, был знаком.

Когда человек достигает дна пропасти, он неизбежно начинает задаваться вопросом: а почему так произошло? Как все это могло произойти? Что он сделал в жизни не так? Где оступился? Кто в этом виноват? Он сам, или кто-то другой?

Заходящее за горизонт багряное солнце. Зеленый луг. Футбольные ворота. Я вместе со своими дворовыми приятелями гоняю мяч. Страсти кипят нешуточные. Как будто это не просто забава, а самый настоящий чемпионат мира...

Школа. Классная комната. Урок. Я сижу на предпоследней парте крайнего к окну ряда. Учительница что-то диктует. Все старательно записывают. Я тоже записываю, но при этом украдкой поглядываю в окно. В хорошую погоду тяжело сидеть в душном классе. Так хочется на улицу!..

Деревня. Небольшой, но уютный деревянный дом. Я возвращаюсь с рыбалки, открываю калитку, захожу во двор, ставлю удочку у забора. Бабушка печет на кухне блины. Уловив их запах, я чувствую, как сильно я проголодался. Наша кошка Мурка уже тут как тут. Она извивается, словно змея, возле наполненного водой бидончика, в котором плавают несколько мелких рыбешек, – мой сегодняшний улов, – и все норовит выцарапать их оттуда. Она знает, что эта рыба принесена для нее...

Картины детства! Беззаботного, счастливого детства! В последнее время они стали появляться перед моими глазами постоянно. С одной стороны, эти воспоминания, конечно, очень приятны. Хорошее было время! Но с другой, они вызывают резкую, порой просто невыносимую, душевную боль. Ведь всё это – в далеком прошлом, и уже никогда не вернется. Никогда!

Как все-таки странно устроено наше сознание! Почему когда нам плохо, мы всегда вспоминаем детство?

Вот я иду в школу. Вот сдаю свой первый в жизни экзамен. Вот сижу на лавочке перед домом поздним вечером вместе со своей подружкой. Несмотря на то, что все это было сорок лет назад, оно тем не менее стоит перед моими глазами так отчетливо, как будто происходило только вчера...

Первое сентября. Первый раз в первый класс. Странно, я раньше никогда особо не вспоминал этот день. Он всегда представлялся мне довольно смутно. Почему он вдруг стал приходить мне на ум? Наверное, несчастья имеют свойство мобилизовывать память. В тяжелые времена она, порой, вдруг начинает открывать свои самые потаенные уголки.

В то утро я проснулся и сразу же выглянул в окно, чтобы посмотреть, какая погода. Последние дни она не радовала. Было сыро и пасмурно, лили дожди. Из-за этого я целыми днями сидел дома и не выходил гулять. Мать еще все время охала: дескать, с такой отвратительной погодой может пропасть все ощущение праздника.

Все лето я только и жил, что ожиданием этого дня. Школа! Это не детский сад. Это нечто более серьезное, более ответственное. Это то, что возвышает тебя в твоих собственных глазах. Ты уже не какая-то там малявка. Ты школьник. Ты повзрослел.

Каждому ребенку почему-то всегда хочется поскорее стать взрослым. А каждый взрослый при этом почему-то всегда мечтает вернуться в детство. Парадокс!

Выглянув в окно, я облегченно вздохнул: тучи исчезли. Небо было чистое-чистое, без единого облачка. Только что взошедшее над горизонтом солнце, казалось, тоже радовалось, что может освещать землю без всяких помех.

Моя мать уже поднялась и возилась на кухне с завтраком.

– Проснулся? – спросила она, увидев меня. – Сжалилась над нами, все-таки, небесная канцелярия. Вроде, распогодилось.

Я умылся и сел за стол. Смешно вспомнить. Тогда мои ноги еще свободно болтались на табуретке, не доставая пола. А что же в то утро было на завтрак? Точно не помню, но, по-моему, картошка с мясом. Точнее, картошка с мясом была только у меня. Мать готовила для себя более простую пищу. Такое разделение в питании между нами продолжалось уже год, с того самого момента, как мы остались с ней вдвоем. Мой отец ушел к другой женщине. Это сразу же сказалось на семейном бюджете и на уровне нашей жизни. Отец зарабатывал хорошо. Пока он жил с нами, он полностью обеспечивал семью, и моя мать нигде не работала, посвящая себя исключительно моему воспитанию. Но когда отец нас покинул, ей, конечно же, пришлось трудоустроиваться. На одних алиментах было не прожить. Хорошей специальности у нее не было, так что о престижной, высокооплачиваемой работе не могло быть и речи. Сначала она работала дворником, затем уборщицей, а в последнее время стирала белье в прачечной. Получала она мало. Поэтому, если в нашем холодильнике вдруг оказывалось мясо, оно все отдавалось мне. Сама же мать питалась тем, что было подешевле: рыбой, почками, печенью, требухой, а то и вовсе одной картошкой с яичницей.

Опустошив тарелку, я почистил зубы и с волнением принялся натягивать на себя школьную форму. Сейчас ее уже отменили. А тогда в этих темно-синих костюмчиках с характерной эмблемой на левом рукаве ходили все дети.

Мой костюм висел в шифоньере уже месяц. Я периодически доставал его, рассматривал, примерял и с нетерпением ждал момента, когда выйду в нем на улицу. И вот этот долгожданный момент наконец наступил. Надев костюм, обувшись в новые, приятно пахнувшие кожей, ботинки, я взял портфель, цветы, которые мать накануне купила на рынке, – по-моему, это были астры, – и мы отправились в школу.

Школа находилась недалеко, примерно в двух кварталах от нашего дома. Когда мы к ней подошли, я увидел уйму народа. Обстановка была праздничной. Громко играла музыка. Звучали детские песни. Все улыбались. Повсеместно были развешаны разноцветные шары и приветственные транспаранты. Читать я тогда уже умел, поэтому без труда вник в их содержание: «Добро пожаловать!», «Первое сентября – день знаний», «Миру – мир!», и что-то еще.

Мать посмотрела по сторонам и повела меня к группе детей, собравшихся возле таблички с надписью «1Г». Рядом с табличкой стояла невысокая пожилая женщина с добрыми глазами.

– Это твоя учительница, – сказала мне мать. – Знакомься. Ее зовут Нина Николаевна.

Нина Николаевна ласково посмотрела на меня, приветливо улыбнулась и погладила по голове.

– Как тебя зовут? – спросила она.

– Игорь, – робко ответил я.

– А фамилия?

– Смирнов.

– Очень хорошо, – сказала она. – Надеюсь, мы с тобой подружимся. Становись рядом с ребятами. Ты будешь учиться вместе с ними. Это твои будущие друзья.

Я присоединился к детям и стал с любопытством рассматривать своих «будущих друзей». Они, в свою очередь, с интересом изучали меня. Я практически никого из них не знал. Лишь несколько человек были мне более-менее знакомы. Они жили в нашем доме, и я периодически видел их, когда гулял во дворе. Затем к нам стали подводить других детей, и мы увлеченно занимались визуальным знакомством друг с другом.

Директор школы, невзрачный пожилой мужчина в сером костюме, произнес приветственную речь. Грянул торжественный марш. К нам подошли старшеклассники, взяли каждого из нас за руку и повели наверх по ступенькам...

Вспоминая свой первый школьный день, я вдруг почувствовал огромное, просто нестерпимое желание взглянуть на наш «Выпуск». На эту старую, пожелтевшую от времени фотографию, где мы еще такие маленькие, такие юные, такие по-детски наивные и простые. Где же он есть? Когда я продал мебельную «стенку» и освобождал ее от вещей, я, по-моему, положил его вместе с книгами.

Я сделал усилие и поднялся с раскладушки. Голова тут же закружилась, в глазах заплясали звездочки, в ушах неприятно засвистело, ноги задрожали, а желудок пронзила острая резкая боль. Пять дней ничего не есть – это, все-таки, не шутка. Какое жалкое зрелище я, наверное, представляю сейчас со стороны.

Подобравшись к пакетам с книгами, которые были свалены в углу, я принялся их осматривать. Наконец, я увидел большую темно-зеленую корочку, покрытую густым слоем пыли. Когда же я последний раз в нее заглядывал? Что-то уже и не помню. Наверное, где-то лет двадцать назад.

Я вытащил корочку из пакета, смахнул с нее пыль, вернулся на раскладушку и с волнением раскрыл. Вот они, мы! Счастливые, искренние, непосредственные! А вот и я. Улыбаюсь в объектив и еще не знаю, какая страшная судьба ожидает меня впереди.

Коренев, Гребенюк, Петров, Андреев. У каждого из них жизнь сложилась по-разному. У кого-то лучше, у кого-то хуже. Периодически я сейчас вижу только Костю Андреева. И то лишь потому, что он живет в одном со мной доме. Видеться-то мы видимся, но при этом совсем не общаемся и даже не здороваемся. Он меня сторонится и откровенно мною брезгует. Проходя мимо, всегда отворачивается, как будто никогда не был со мной знаком. Это только в детстве можно чувствовать себя равными друг другу. Ведь дети не думают о будущем. Они живут одним днем и не воспринимают мир сквозь призму циничного прагматизма, который приходит в более зрелом возрасте. Сейчас между нами уже не осталось ничего, что могло бы нас связывать, кроме, может быть, памяти. Но память о школьных годах – это понятие относительное и ни к чему не обязывающее.

Роман Коренев. В младших классах мы сидели с ним за одной партой, долгое время жили в соседних домах, вместе ходили в школу, вместе играли во дворе. Затем его родители получили другую квартиру. В новом доме у него появились другие приятели, и наша дружба постепенно угасла.

Олег Гребенюк. Даже сейчас, глядя на него, я ощущаю острую неприязнь. Это был общепризнанный лидер нашего класса. Интересный собеседник, хороший выдумщик. Он словно притягивал к себе остальных. Но с годами его лидерские качества трансформировались в откровенную заносчивость и высокомерие. В нем в самой полной мере проявились такие пороки, как себялюбие, тщеславие, эгоизм. Я всегда чувствовал свою слабость перед ним. Меня всегда подавляла его непоколебимая уверенность в собственных силах. Он раз за разом насмехался надо мной, словно получая от этого какое-то иезуитское удовольствие, а мне никогда не хватало духу вступить с ним в открытый конфликт. Я понимал, что победа вряд ли останется за мной. Его судьбу тоже нельзя назвать счастливой. Жизнь у него не задалась, и со временем он откровенно спился. Так что лидерство в детском возрасте не всегда является залогом дальнейшего успеха.

Кто никогда не являлся среди нас лидером, но, тем не менее, достиг впечатляющих жизненных высот, так это Слава Петров. Вот он, белобрысенький, с ясными, чуть удивленными глазами. Сейчас он известнейший художник, которого знают не только в нашей стране, но и во всем мире. В нем была какая-то своеобразная живинка, порой кажущаяся странной тем, кто вечно стремится к всеобщему сходству и стандарту. Я стараюсь не думать о нем, хотя он был моим другом. Может быть, даже самым лучшим другом за всю мою жизнь. Таких верных и преданных друзей, как он, у меня впоследствии больше не появилось. Но наша дружба резко оборвалась. И виной этому был я. Мне очень стыдно вспоминать причину этого разрыва.

Стыдно и горько. Эта душевная рана, наверное, не заживет во мне никогда. Так же, впрочем, как и некоторые другие мои душевные раны.

Слава Петров был самым маленьким и самым слабым в нашем классе. Его вечно тюкали, дразнили, а порой и откровенно издевались. Один бог знает, как ему удавалось все это терпеть. Основной причиной всех этих издевок была элементарная зависть. Зависть к его интеллекту, к его таланту. Славик заметно отличался от всех нас. Учебные предметы давались ему очень легко. Он всегда был отличником. Если требовалось списать домашнее задание, решить какую-нибудь задачку на контрольной, он был первым, к кому за этим обращались. И он безропотно помогал всем, кто бы его об этом ни попросил. Даже тем, кто над ним откровенно насмехался. Славик был очень эмоциональным, очень чувствительным, очень ранимым. Природа щедро наделила его художественным даром. В нем очень рано проявились способности к рисованию. Его работы демонстрировались на выставках, о нем писали газеты. И по мере того, как его имя становилось все известней и известней, в нашем классе к нему относились все злее и злее. Свои успехи Славик воспринимал спокойно. В нем не было ни малейшей доли той бравады и заносчивости, которые буквально выпирали, например, из Гребенюка. Он был интеллигентный, тихий, безобидный. Это, наверное, и было его бедой. Над такими всегда издеваются. В нашем классе он был одинок. Друзей у него не было. Кроме меня.

Как же мы с ним подружились? Что-то я уже и не помню. Это произошло как-то само собой, по-обычному. Начали разговаривать, общаться, ходить в гости. Так постепенно друг к другу и привыкли. Славика ко мне тянуло. Я это чувствовал. У нас с ним был схожий темперамент, схожие интересы. Ни он, ни я не были сорвиголовами. Мы не носились, как угорелые, на переменах по коридорам школы, не любили баловаться и хулиганить. И он, и я любили читать. Особенно нас привлекала приключенческая литература. В те времена хорошие книги были большой редкостью. Это был дефицит. А у Славика дома была прекрасная библиотека. И вот, благодаря ему, я познакомился с творчеством Марка Твена, Фенимора Купера, Жюль Верна. Славик не боялся давать мне эти книги домой. Но, кроме меня, он их больше никому не давал. Я никогда не слышал от него ни одного худого слова, ни одной фразы в повелительном тоне. Он никогда не задирал передо мной свой нос, часто помогал мне делать уроки. Особенно плохо мне давалась математика. И он спокойно, терпеливо, по несколько раз объяснял мне, как следует делать тот или иной пример, решать то или иное уравнение.

Наша дружба текла в полной гармонии наших личных интересов. До того самого злополучного дня...

Глава вторая

Когда я впервые почувствовал в себе злобу по отношению к другим людям? Не просто какую-то там антипатию или неприязнь, а именно злобу. Ведь в детстве ее во мне не было. Я был обычным ребенком. Не сказать, что шаловливым. Но и к пай-мальчикам тоже не относился. Бывало, конечно, я с кем-то ссорился. Случалось, даже дрался. Ну и что? Что в этом страшного? Сегодня подрались, завтра помирились. Это происходит со всеми детьми. Но чтобы питать к кому-то лютую ненависть, чтобы искренне желать ему зла и злорадствовать над его неудачами – такого во мне раньше не было. Откуда же все это появилось?

От чего, вообще, возникает злоба? Какова ее природа? Что является той благодатной почвой, на которой она начинает произрастать? Скорее всего, осознание неравенства. Неравенства в уровне жизни, в способностях, в возможностях. Кто-то умен, а кто-то не очень. Кто-то талантлив, а кто-то нет. Кому-то просто повезло, а кого-то фортуна обошла стороной. Да, наверное, это действительно так. Люди, у которых не сложилась жизнь, чаще всего и бывают озлоблены по отношению к другим, более удачливым, чем они сами. Не зря же существует такая поговорка: легче разговаривать с десятию, у которых все есть, чем с одним, у которого ничего нет.

Когда я стал задумываться о неравенстве? Наверное, после конфликта с Сорокиной. Да, именно после этого конфликта я в полной мере осознал, насколько я беден.

Сорокина – эта моя соседка, которая жила этажом выше. Крайне неприятная особа, очень злая и злопамятная. Когда она что-то о ком-то говорила, казалось, что из ее рта, вместе со слюной, разлетается яд.

Тогда я вдруг отчетливо увидел, как туго приходится моей матери. Ведь я рос. Расходы на мое содержание все увеличивались. А мать не могла зарабатывать больше того, что она получала. Поэтому все то, что дополнительно требовалось мне, она отрывала от себя. Я увидел, как она неважно одета, как печально и замучено ее лицо. Мне часто приходилось наблюдать, как она, сидя на диване, раз за разом зашивала и латала свои старые-престарые платья, кофты, блузки, чулки, даже нижнее белье. Она ходила в одной и той же одежде по много лет, потому что была не в состоянии купить себе новую, ибо ей требовалось обувать и одевать меня. Ей очень хотелось, чтобы я выглядел не хуже остальных ребят. И она делала для этого все, что могла, все, что было в ее силах. Но ее возможности были значительно хуже возможностей других матерей, которых не бросили мужья.

Именно после этого конфликта я стал явственно ощущать, что лишен многих удобств и удовольствий, которые были доступны другим детям. В моем кармане никогда не лежало больше двадцати копеек, в то время, как, например, Гребенюк с удовольствием вытаскивал на всеобщее обозрение то рубль, то «трешку», то «пятерку», а иногда даже и «десятку», что по тем временам были весьма неплохие деньги. Меня стало угнетать, что в квартирах моих одноклассников стояли *цветные* телевизоры, а у нас – старенький *черно-белый*, который, к тому же, регулярно ломался. У других были кассетные магнитофоны, считавшиеся в ту пору признаком благополучия, а у меня – старый, громоздкий, допотопный бобинный, оставшийся еще от отца. Именно с тех пор я стал терзаться своим уделом, которым была жалкая, безысходная нужда.

С чего же тогда начался этот конфликт? Да, ровным счетом, ни с чего. Мы с Корневым, вернувшись из школы, стояли возле моего подъезда и о чем-то разговаривали. Тут на улицу вышла Сорокина. Увидев меня, она, ни с того, ни с сего, разразилась яростной бранью:

– Совсем загадил подъезд своими «бычками»! Разбрасываешь их по всем углам! А кто убирать за тобой будет? Свинья сопливая!

Я, конечно, поначалу опешил и стал робко возражать, что это не я кидаю в подъезде окурки. Я даже не курю. Но Сорокина меня и слушать не захотела.

– Ах, ты еще и старшим дерзишь? – продолжала кричать она. – Прачкино отродье! Еще сопли под носом не обсохли! Что из тебя дальше будет! Дерьмо! По тебе тюрьма плачет! Как с тобой, оборванцем, другие дети еще разговаривают? Я бы на месте их родителей тебя к ним и близко не подпускала!

Стерпеть такие оскорбления в тринадцать лет, конечно, трудно. Ведь подростковый возраст довольно горячий и особенно остро восприимчив к несправедливости.

Моя кровь воспламенилась. Я огрызнулся, отчего Сорокина буквально побагровела. Ее охватил новый приступ ярости, и она вылила на меня такой поток словесных помоев, который, казалось, затопит весь двор.

Видя, что ситуация опасно накалилась, мой приятель разумно ушел домой. Мне, конечно, тоже следовало уйти. Не к лицу мне было ругаться с этой вздорной бабой, которая, обрушивая гром и молнии на чужие проступки, старалась скрыть этим свои собственные жизненные неурядицы. Но меня слишком сильно задела ее слова.

На нижних этажах приоткрылись окна, из которых стали высовываться любопытные старухи. Уяснив ситуацию со слов Сорокиной, они начали меня стыдить, а я, соответственно, им отвечать. Поднялся вселенский скандал, в котором я отчаянно противостоял почти что десятку взрослых.

Услышав шум и увидев меня из окна, на улицу выбежала перепуганная мать. Я рассказал ей, в чем дело, и с чего все началось. Мать отправила меня домой, а сама вступила в перепалку с не на шутку разбушевавшимися соседями. Но для них она была не авторитет. Подумаешь, какая-то прачка! Когда моя мать вернулась потом домой, ее всю трясло. Она проплакала весь вечер, а по квартире расползся характерный запах корвалола.

На следующий день к нам пришел участковый. Неугомонные старухи под предводительством Сорокиной написали на меня коллективную жалобу, в которой было одно сплошное вранье. Но сила этого вранья заключалась в том, что оно было коллективным. По свидетельству соседей, я и курил, и пил, и сквернословил, и, вообще, вел себя неподобающе советскому школьнику. Я пытался все объяснить, но участковый меня не слушал, явно сочтя, что если десять свидетелей указывают на одного, то его вина сомнению не подлежит. Он составил на меня протокол. Затем последовала постановка на учет в детской комнате милиции, письмо в школу и, как венец, «проработка» на классном часе.

Эту «проработку» я запомнил надолго. Наша классная руководительница Оксана Васильевна, пожилая женщина, никогда не бывшая замужем, такая же сваливая, как и Сорокина, вдоволь тогда надо мной покуражилась. Она клеймила меня вселенским позором, заявляла, что за всю свою долгую педагогическую деятельность еще не встречала такого отщепенца, каким, по ее мнению, был я.

Ее слова больно, до крови, хлестали мое самолюбие. Они были несправедливыми и оскорбительными. Я пытался себя защитить, яростно доказывал свою невиновность. Но Оксана Васильевна мне не верила. Мои одноклассники сидели ошарашенные и растерянно смотрели на меня. Они явно не ожидали, что я могу попасть в милицию, и обо мне будут говорить такие нелестные вещи. Ведь я никогда не отличался страстью к хулиганству. Но Оксана Васильевна нашла объяснение и этому несоответствию.

– Ты двуличен! – яростно тыкала в меня пальцем она. – Здесь ты один, дома ты другой. В школе ты стараешься выглядеть примерно, а дома проявляешь свое настоящее лицо. Ты выродок! Ты будущий уголовник!

Меня, конечно, мог поддержать Коренев, который видел, с чего начался мой конфликт с соседями. Я не уверен, что его рассказ смягчил бы позицию Оксаны Васильевны, но он,

безусловно, ослабил бы бушевавшее во мне чувство несправедливости. Но Роман промолчал, предпочтя в происходящее не вступать.

Конечно, мне было обидно. Обидно и горько. Именно тогда я и стал по-настоящему чувствовать, какое неблагоприятное место в этом мире мне отводят окружающие.

Что мне тогда могло помочь? Что могло защитить меня от ложных обвинений? Наверное, решительное вмешательство матери. Я, с трудом сдерживая слезы, рассказал ей про этот классный час. Если бы она не оставила все это без внимания, пошла бы в школу, хорошенько поговорила бы с Оксаной Васильевной, с директором, написала бы жалобу в вышестоящие инстанции, заставила бы их во всем разобраться, выявить истину, мое «дело», скорее всего, было бы пересмотрено. Но у нее не хватило на это духу.

– Все переживется, – тихо говорила она, глядя меня по голове, – все перемелется.

Моя мать была робкой и слабой женщиной. О таких, образно говоря, всегда вытирают ноги. Может, именно поэтому ее жизнь и сложилась так тяжело.

Видя, что меня никто не защищает, Оксана Васильевна стала в дальнейшем с упоением демонстрировать на мне свою власть. К другим детям, чьи родители были посмелее, побойчее и могли постоять за своего ребенка, она относилась более человечно. А применительно ко мне она чувствовала свою безнаказанность. Именно тогда я впервые осознал жестокий закон жизни – прав тот, кто сильнее.

О, господи, сколько же в наших школах работает таких вот псевдопедагогов! Сколько юных душ они уже искалечили, и продолжают калечить!

К слову, когда Сорокина умерла, моя мать категорически отказалась сбрасываться на ее похороны, не испугавшись общественного порицания.

В отличие от нынешнего времени, в те годы не давать на похороны было не принято. Это считалось не просто дурным тоном, а даже нравственным преступлением.

Услышав, что от нее хотят пришедшие к нам соседи, мать глухо, но твердо произнесла: «Туда ей и дорога», – и решительно захлопнула дверь квартиры.

Умирала Сорокина долго и мучительно. У нее было что-то связанное с непроходимостью пищи, и врачи уже ничем не могли ей помочь. Несмотря на то, что ее квартира находилась на пятом этаже, ее жалобные крики, стоны, ругательства были отчетливо слышны на улице. Тогда я, помню, злорадно потирал руки и приговаривал: «Так тебе и надо. Помучайся».

Уяснить бы мне тогда, что божье наказание за грехи неотвратимо. Глядишь, и не сложилась бы так нелепо моя жизнь.

Глава третья

Конфликт с соседями как бы разделил мое детство, мои школьные годы на две части. Если до последовавшей за ним «проработки» я не испытывал недостатка в приятелях, в общении, то после нее я столкнулся с таким страшным явлением, как одиночество, и познал всю его неприглядность.

После классного часа я вдруг стал явственно ощущать, что в школе по отношению ко мне появилась некоторая отчужденность. Нет, меня не сторонились, мною не брезговали. Со мной по-прежнему разговаривали. Но разговоры эти уже не имели той легкости, простоты и непринужденности, как раньше. Они уже не походили на общение хорошо знающих друг друга людей. В них стала проявляться какая-то натужность, какой-то холодок.

Оксана Васильевна, в свою очередь, подливала масла в огонь, не упуская случая лишний раз меня задеть, кольнуть, выставить на всеобщее посмешище. Она явно задалась целью превратить меня в изгоя.

Я мучительно пытался понять, отчего она вдруг так меня возненавидела? Ведь я не сделал ей ничего плохого. Я не был отъявленным хулиганом, достаточно хорошо успевал. Что же тогда послужило этому причиной? Ответ на этот вопрос я нашел уже в зрелые годы, когда поднабрался мудрости и жизненного опыта.

Есть такая препротивная категория людей – садисты. Не в физическом смысле этого понятия, а в моральном. От нормальных людей они отличаются тем, что испытывают какое-то дьявольское, граничащее даже с сексуальным, наслаждение, когда унижают другого человека. А если тот, кого они унижают, еще и не может им противостоять, будучи каким-то образом от них зависим, это только еще больше разжигает их садистскую страсть.

– Характеристики вам писать буду я! – часто кричала Оксана Васильевна. – Я могу написать вам такую характеристику, что вас с ней возьмут только в тюрьму.

В прежней социалистической системе, которая существовала в нашей стране, характеристики с места работы или учебы играли очень важную роль. Порой они даже определяли дальнейшую судьбу. Это потом они были отменены. А тогда они представляли собой прекрасный инструмент, с помощью которого можно было испортить человеку всю жизнь, в чем-то ему помешать, не дать ходу, а то и попросту откровенно с ним расправиться.

Поэтому «характеристиковый» аргумент действовал безотказно. Оксану Васильевну боялись и предпочитали с ней не связываться.

К слову, она, как и Сорокина, умирала очень тяжело, в страшных муках. И никто из ее бывших учеников, коллег по работе, соседей по дому так и не пришел ей на помощь...

Как же все-таки произошло, что я оказался в полной изоляции? Анализируя те события с высоты прожитых лет, должен с горечью констатировать, что инициатором этой изоляции был именно я. Она оказалась той западней, в которую я сам же себя и загнал.

Все началось с того, что, почувствовав холодок со стороны одноклассников, я откровенно взъерепенился. Во мне разыграло самолюбие. Мол, не хотите со мной нормально разговаривать – не надо. Обойдусь и без вас. Приходя в школу, я демонстративно ни на кого не смотрел, ни с кем не здоровался, не разговаривал, держался от всех в сторонке и общался только со Славиком. Славик был единственным человеком, кто никоим образом не изменил ко мне своего отношения. Он по-прежнему воспринимал меня своим другом и ни разу, ни одним словом, ни одним вопросом не напомнил мне о том злополучном происшествии, в результате которого я был зачислен в неблагополучные подростки. Случалось, я сам пытался о нем заговорить. Но Славик при этом неизменно меня перебивал и переводил разговор на другую тему.

Я бойкотировал одноклассников достаточно долго. Но это только усугубило ситуацию. Через некоторое время меня перестали замечать. Меня перестали воспринимать своим, и я все сильнее и сильнее чувствовал себя неким чужеродным организмом. На меня смотрели как на пустое место, как будто меня вообще не существовало. Психологически выдержать это было невероятно тяжело.

Я держался, сколько мог. Но наступил момент, когда я дрогнул. Я стал пытаться вернуться в коллектив. Но обратно меня уже не принимали. Когда я к кому-то подходил, пытался о чем-то заговорить, на меня смотрели с холодком, нехотя что-то отвечали, явно давая понять, что мое общество нежелательно.

Все это, конечно, было крайне неприятно. Я ходил в школу, как на казнь. Я не оставлял попыток вернуть бывших друзей, настойчиво лез в их компанию, поддакивал, лебезил, терпел то пренебрежение, которое мне выказывали, и при этом утешал себя надеждой, что в конце концов ко мне снова все привыкнут и снова станут относиться ко мне так, как относились раньше.

Приближался мой день рождения. Он был как нельзя кстати. Ведь день рождения – это прекрасный повод пригласить одноклассников к себе домой. Я на него очень рассчитывал и надеялся, что после этой вечеринки ребята вновь повернутся ко мне лицом, и я снова почувствую их уважение и внимание. Мне очень хотелось перед ними блеснуть. Мне очень хотелось, чтобы мои именины получились шикарными и незабываемыми. Ради этого я старался изо всех сил. Как моей матери было ни тяжело, она все же дала мне необходимую денежную сумму, хотя из-за этого ей пришлось залезть в долги. Я купил большой торт, сок, лимонад, дорогие шоколадные конфеты, а также пару бобин с модной зарубежной музыкой, которую в те времена можно было найти только у фарцовщиков, и за немалые деньги. Все это, по моему мнению, должно было принести мне успех.

Вспоминая тот вечер, я до сих пор не могу избавиться от ощущения горького осадка на душе. Этот злополучный день рождения не только мне не помог, а напротив, только еще больше мне навредил. Мне всегда хотелось его забыть и никогда больше не вспоминать. Но память о нем, как проклятие, преследует меня всю жизнь, и, словно едкая кислота, разъедает мою душу.

23 апреля. Я пришел в школу, отсидел первый урок, – по-моему, это была физика, – а на перемене стал поочередно подходить к ребятам и приглашать их вечером к себе домой.

Первый, к кому я подошел, был Славик. Он принял мое приглашение с удовольствием. Но вот дальше начались проблемы. Никто из одноклассников откликаться на него не захотел. Мое приглашение слушали без всякого воодушевления, а далее неизменно следовала какая-нибудь отговорка.

– Вряд ли, – поморщился Роман Корнев. – Уроки нужно делать, да еще отцу в гараже помочь. Поэтому вряд ли.

– Что ж ты не сказал об этом хотя бы пару дней назад? – с фальшивой досадой воскликнул Сергей Рукавицын. – А сейчас у меня уже есть кое-какие планы. Так что, извини.

Точно так же отказались и все остальные. Один бог знает, как тяжело было у меня на душе. Я чуть не плакал от обиды. Мне так хотелось, чтобы на мой день рождения пришел кто-нибудь еще, кроме Славика. Все равно кто, лишь бы пришел. А приглашать было уже практически некого. Меня все проигнорировали. И тогда я, скрепя сердце, подошел к Гребенюку, человеку, который постоянно надо мной насмехался и унижал. Черт с ним, я уже был готов даже на его компанию.

Ох, как неприятно мне сейчас вспоминать эту сцену! Как же унижительно я себя вел! По тому, какие слова, и с какой интонацией, вырвались тогда из моих уст, это было не приглашение. Это была слезная просьба, чуть ли не мольба.

Первой реакцией Гребенюка явилось неподдельное удивление. Затем в его глазах появилась насмешка.

– Никаких подарков мне не надо, – торопливо добавил я, заискивающе глядя ему в глаза. – Мне нужна только хорошая компания, с которой можно будет весело провести время.

Гребенюк снисходительно оглядел меня с головы до ног, комично сморщив при этом нос.

– Я подумаю, – уклончиво произнес он.

Я отошел в сторону. Гребенюк немного поговорил со своим другом Андреевым. При этом они постоянно поглядывали на меня и посмеивались. Затем, через некоторое время, они подошли ко мне.

– Ну, что ж, – весело произнес Гребенюк, – если, как ты говоришь, никаких подарков тебе не надо, и тебе нужна только хорошая компания, мы к тебе придем. Поможем тебе весело провести время. Во сколько, говоришь, начало банкета?

– В шесть, – радостно выпалил я, чувствуя, что у меня словно гора свалилась с плеч.

Наступил вечер. Мать ушла к знакомым, чтобы не мешать моему празднику. Я накрыл на стол, переоделся в свою лучшую одежду и стал ждать гостей.

Первым пришел Славик. Его глаза светились искренней радостью. Он вручил мне шикарный подарок – одну из книг своей богатой библиотеки. По-моему, это был «Всадник без головы» Майна Рида. Мы сели с ним за стол, принялись о чем-то болтать и дожидаться остальных. Но остальные все не шли. Часовая стрелка уже перевалила далеко за обозначенные шесть часов, но нас по-прежнему оставалось двое. Мое настроение заметно испортилось. Славик, видя это, изо всех сил пытался меня развеселить.

И вот, спустя час, когда я уже нисколько не сомневался, что надо мной просто посмеялись, в дверь раздался долгожданный звонок. В квартиру ввалились Гребенюк и Андреев. Они вручили мне какую-то допотопную открытку, разулись и по-хозяйски прошли в комнату.

– О, господи! – воскликнули они, увидев Славика. – И ты здесь?

Славик помрачнел, но в ответ ничего не сказал.

– Ну, чем нас тут попотчуют именинники? – спросил Гребенюк и, осмотрев накрытый стол, поцокал языком. – Недурно, недурно. Я ожидал худшего.

Они уселись за стол и без всяких церемоний принялись трескать стоявшие на нем яства.

Я изо всех сил старался быть гостеприимным, радушным хозяином. Я включил музыку, бегал, суетился и послушно поддакивал тому, о чем они говорили. Гребенюк и Андреев разговаривали, в основном, между собой. На нас со Славиком они не обращали никакого внимания, словно нас здесь и не было. Меня это, конечно, раздражало, но я старался не подавать виду.

Боже, как я тогда был глуп! И я еще надеялся заслужить их уважение?! На какое уважение может рассчитывать человек, который сам себя не уважает? Мне нужно было их просто выгнать. Перенесись я сейчас в тот вечер на какой-нибудь машине времени, я бы, несомненно, так и сделал. Но тогда у меня не хватило на это духу, и я терпеливо и безропотно сносил их откровенное хамство.

Когда все заготовленное мной угощение иссякло, Гребенюк вдруг хлопнул ладонями по столу.

– Так, все это, конечно, хорошо, – сказал он. – «Тархун», «Байкал», торт, музыка – это замечательно. Но все же недостаточно для настоящего веселья.

– Недостаточно? – переспросил я. – А что еще надо?

– Ты нас для чего сюда позвал? – обратился ко мне Андреев. – Чтобы весело провести время? Так?

– Так, – робко согласился я.

– А какое может быть веселье без пива?

Меня охватила растерянность.

– Да рановато нам, наверное, еще пиво-то, – пробовал оправдаться я.

– Чего? Рановато? – засмеялся Гребенюк. – Ты что, маленький ребенок? Тебе уже сколько? Четырнадцать! В такие годы пора становиться настоящим мужиком. Это же не водка. Это всего-навсего пиво.

Я пожал плечами.

– Ну, ладно. Если вы так хотите. Но я боюсь, что мне пиво в магазине не продадут.

– Эх, чего не сделаешь для именинника! – воскликнул Гребенюк. – Ладно, давай деньги. Так уж и быть, мы сами за ним сходим.

Я отчетливо помню, что какой-то внутренний голос настойчиво советовал мне этого не делать. словно ангел-хранитель пытался уберечь меня от беды. Я в нерешительности замялся.

– Ну, что ты? – нетерпеливо спросил Андреев. – Денег нет, что ли?

Выглядеть в их глазах нищим мне решительно не хотелось, поэтому я отогнал от себя последние сомнения, достал из шкафа круглую металлическую коробочку из-под леденцов, в которой хранил свои куцые накопления, и высыпал находившуюся в ней мелочь в ладонь Гребенюка.

– Ну, вот! – довольно воскликнул он. – Сейчас все организуем. Сиди, жди.

Гребенюк и Андреев вышли из квартиры. Мы со Славиком остались сидеть за столом.

Лицо Славика было хмурым. Его явно не радовал мой день рождения. Он чувствовал себя здесь лишним. Я видел, что ему хотелось уйти. Но из дружеской солидарности он удерживал себя от этого шага, боясь, что я могу на него за это обидеться.

Мне тоже было как-то не по себе. Я чувствовал себя неуютно. Я понимал, что веду себя как-то не так. Но я заставлял себя смириться с обстоятельствами. Если я хочу, чтобы в классе меня снова стали считать своим, я должен быть вместе со всеми, я должен делать то, что делают они, и не отделяться. Так я думал тогда. Сейчас-то я понимаю, как сильно я заблуждался.

– Что приуныл? – спросил я Славика. – Сейчас принесут пиво, будет повеселее.

Славик нахмурил брови.

– Зря ты это, – тихо произнес он. – Зря.

Я в ответ только вздохнул.

Когда Гребенюк и Андреев вернулись, в руках у них было четыре бутылки «Жигулевского».

– Мой стаканы, – скомандовал Гребенюк.

Я вымыл стаканы, из которых мы до этого пили лимонад, и достал из кухонного шкафа открывалку. Андреев ловко поддел крышки, и из горлышек полезла густая пена. Славик решительно накрыл свой стакан рукой.

– Мне не надо, – твердо произнес он.

Гребенюк с усмешкой посмотрел на него.

– Не смущай мальчика, – сказал он Андрееву. – Он пьет только молоко.

– Эй, именинник, – окликнул меня Андреев, – а тебе наливать? Или ты, как и твой дружок, предпочитаешь лимонадик?

– Наливай, – ответил я. – В жизни надо попробовать все.

– Золотые слова, – похвалил меня Гребенюк, взял в руки стакан и провозгласил: – Ну, за тебя!

До этого момента мой организм еще никогда не имел дело с алкоголем. Поэтому не удивительно, что меня быстро развезло. Хмель ударил мне в голову. Я ощутил небывалый прилив энергии и сил. Гребенюк и Андреев подбадривали меня, наливая еще и еще. Я послушно осушал стакан за стаканом и при этом откровенно злился на Славика. Он раздражал меня все больше и больше. Славик беспрерывно крутился возле меня и шептал мне в ухо: «Хватит, ну хватит». В конце концов, я не выдержал и изо всех сил оттолкнул его в сторону. Славик спо-

ткнулся и упал на пол. Его лицо выражало растерянность. Ему бы в этот момент взять и уйти. Но он не решался оставить меня одного в этой компании. Он еще не потерял надежды меня образумить.

– Что ты с ним цацкаешься? – с упрёком бросил мне Гребенюк, кивая на Славику. – Нашел себе друга. Это же позор, а не друг. С ним же никто не водится. Зубрила-художник! Зачем ты его вообще позвал? Он же только мешается. Успокой его, чтобы не лез.

– Как успокоить? – заплетающимся языком произнес я.

– Да хотя бы свяжи и брось в угол, – посоветовал Гребенюк.

Я не знаю, как объяснить свои последующие действия. Затуманенностью сознания, вселившимся бесом, откровенной дурью. Но мое мировоззрение в тот момент деформировалось, словно в кривом зеркале. Я почувствовал к Славику лютую ненависть. Значит, это именно он является виновником всех моих бед! Значит, это именно из-за него со мной никто не дружит!

Моя кровь яростно забурлила. Я решительно поднялся из-за стола. Славик смотрел на меня испуганными глазами. Мой взгляд упал на стоявшее в углу комнаты кресло, на спинке которого висел домашний халат матери. Я подошел к нему, вытащил из халата пояс, и двинулся на Славику. Он даже не подался назад. Он словно не мог поверить, что я, кого он считал своим другом, способен причинить ему боль. Он не оказывал сопротивления даже тогда, когда я навалился на него всем своим телом, перевернул на живот и заломил руки за спину. У него еще сохранялась слабая надежда, что я просто балуюсь, шучу. Но когда я начал крепко связывать его запястья, он понял, что я действительно «съехал с катушек». Славик стал отчаянно вырываться. Но физически он был слаб, и все его попытки выглядели беспомощным барахтаньем.

– Игорь, ты чего? Чего ты? – спрашивал он, чуть не плача. – Зачем ты это делаешь?

– Давай, давай! Так его, так! – подбадривали меня Гребенюк и Андреев.

Во мне вдруг проснулся отъявленный садист. Чувство превосходства в силе над своей жертвой всегда опьяняет.

Крепко связав Славику руки за спиной, я поднялся с пола. Славик тоже встал. В его глазах появились слезы.

– Развяжи, – попросил он. – Быстро развяжи.

Его беспомощность только еще больше меня завела. Ах, ты хочешь, чтобы я тебя развязал? Ну, сейчас я тебя «развяжу»!

Я поводил глазами по комнате, и увидел магнитофонный шнур. Взяв его, я снова двинулся на Славику. Он стал отступать. Я яростно набросился на него, сбил с ног, прижал к полу, уселся на него сверху и принялся обматывать шнуром колени. Славик стонал и отчаянно брыкался, но это только разжигало мою ярость. Крепко связав ему ноги, я поднялся, отряхнул руки и произнес:

– Все.

– Браво, браво! – зааплодировали Гребенюк и Андреев. – Смирнов, а ты не такая уж размазня, каким кажешься. Ты, оказывается, решительный парень.

Я самодовольно усмехнулся и приосанился.

Славик тем временем продолжал дергаться и плакать. У него началась истерика.

Гребенюк и Андреев смотрели на него и смеялись. Я смеялся вместе с ними.

Боже, как жестоко это все выглядело – наш издевательский смех на фоне рыданий Славику. Мы буквально наслаждались его беспомощным положением. Первый ученик класса, талант, о котором пишут газеты, сейчас находился в нашей власти! Это доставляло нам огромное удовольствие и сильно возвышало нас в своих собственных глазах.

Внезапно Гребенюк и Андреев опомнились, и их хохот мгновенно стих.

– Ты, что, с ума сошел? – рявкнул на меня Гребенюк. – Развяжи его, быстро!

– Во, дебил! – воскликнул Андреев.

Я осекся. Мои гости выскочили в прихожую, обулись и, даже не попрощавшись, вышли из квартиры, громко захлопнув за собой дверь.

Хмель тут же выветрился из моей головы. Я понял, что здорово переборщил. И что это на меня вдруг такое нашло?

По моей спине пробежал неприятный холодок. Я подошел к Славику и развязал его, чувствуя, как у меня трясутся руки. Славик, шморгая носом, вскочил на ноги.

– Я пошутил, – пробовал оправдаться я, произнеся первое, что пришло мне на ум. – Ты извини, ладно?

Славик не отвечал.

Я нерешительно протянул ему руку, но он яростно отбросил ее в сторону, после чего быстро обулся и ушел.

Я стоял посреди комнаты и растерянно глядел на опустевший праздничный стол. Да, не таким я представлял себе свой день рождения! Я взял в руки книгу, которую подарил мне Славик, и раскрыл ее. На внутренней стороне обложки было старательно выведено его рукой: «Другу Игорю в день четырнадцатилетия с наилучшими пожеланиями. Здоровья, счастья, успехов в учебе! Слава».

Прочитав эту надпись, я почувствовал, как у меня защемило сердце. Что я наделал! Что я натворил! Как я мог так по-скотски поступить со своим другом? Что за неведомая дьявольская сила лишила меня разума?

На следующий день я шел в школу с тяжелым сердцем. Я не знал, как буду смотреть в глаза Славику. Но Славик в тот день на занятиях не появился. Меня это сильно беспокоило. Мою душу терзали самые мрачные предчувствия. Славик был очень эмоционален и впечатлителен. Бог знает, что он мог сотворить с собой после такого нервного потрясения. Мне страшно было подумать, виновником чего я мог стать. Мне очень хотелось сходить к нему домой, чтобы узнать, в чем дело. Но я так и не решился. Мне было стыдно. Кроме этого, меня угнетало еще и то, что я раз за разом ловил на себе какие-то странные взгляды одноклассников. На меня еще никогда не смотрели с таким отвращением. Очевидно, это постарались Гребенюк и Андреев, которые, несомненно, предали широкой огласке мои вчерашние «подвиги». Весть о них разлетелась по классу с молниеносной быстротой. По отношению ко мне недвусмысленно крутили пальцем у виска.

Последующие дни также не принесли мне успокоения. Славик на занятия по-прежнему не приходил. А вскоре нам сообщили, что его родители забрали документы и перевели сына в другую школу.

Я потом, иногда, встречал его на улице, пытался заговорить. Но он всегда от меня отворачивался, подавался в сторону и проходил мимо.

Вот так печально закончилась наша дружба. Как я был бы рад все исправить, представься мне такая возможность. Но прошлое, увы, не вернешь...

Глава четвертая

Стемнело. За окном продолжала бушевать непогода. Я по-прежнему лежал на кровати, закрыв глаза.

Сколько там времени? Я привстал и посмотрел на старый будильник, стоявший на полу. Восемь часов вечера. Странно, что меня еще интересует расположение часовых стрелок. Видимо, это просто в силу привычки. Что для меня теперь время? Разве оно имеет для меня сейчас какое-то значение? Восемь часов, или девять, или десять – от этого все равно ничего не изменится. Все останется так, как есть.

Черт! Как невыносимо сводит желудок! До чего же страшная эта штука – голод! Он беспощадно грыз мои внутренности, выжимал из меня молекулу за молекулой. Я чувствовал, как размягчались мои кости, как высыхали мои мышцы, как кружила мою голову разжижившаяся кровь, как погибала моя душа. Я явственно ощущал, как во мне начинают просыпаться самые примитивные животные инстинкты.

Почему же мне суждено страдать? Почему жизненное счастье обошло стороной именно меня? За что ты меня так наказал, о Господи? За какие грехи ты послал на мою голову столь страшные мучения? За что ты меня так покарал?

Мне хотелось только одного – заснуть и больше никогда не проснуться. Спокойно и безболезненно распрощаться с этим миром. Но Всевышний, похоже, не желал, чтобы я так просто покинул этот свет. Ему хотелось, чтобы я испил свою горестную чашу до самого дна. И он продолжал мучить меня тяжелыми воспоминаниями, которые заставляли сжиматься мое сердце, и от которых порой сырели глаза.

Мне исполнилось шестнадцать лет, и во мне всюю заговорил голос пола. Меня стали интересовать девчонки, меня стало к ним тянуть. Но вот с взаимным интересом никак не получалось, что, разумеется, не могло меня не угнетать.

Какие ребята в первую очередь привлекают девчонок? Разумеется, красивые и обеспеченные. А меня и то, и другое обошло стороной. Сколько раз я стоял у зеркала, смотрел на себя и думал, почему меня угораздило родиться таким невзрачным? Сколько раз я в душе злился на свою мать, что меня родила именно она, а не какая-нибудь другая, более удачливая женщина. «Зачем рожать детей, если нет возможности как следует обеспечить их жизнь?», – думал я.

Все мои попытки завязать знакомство с противоположным полом неизменно терпели крах. Меня откровенно шарахались. Собственно, я был к этому уже привычен. В школе к тому времени я приобрел устойчивое положение изгоя, смирился с ним и не предпринимал ровно никаких попыток, чтобы хоть как-то его изменить.

Я часто предавался размышлениям о неравенстве, царящем в этом мире. Я, конечно, не мог не замечать, как сильно я уступаю своим ровесникам. Меня волновал вопрос, почему? Разве это справедливо? Почему может хорошо одеваться тот же Гребенюк, а я вынужден ходить в обносках? Почему Гребенюк может себе позволить повести девчонок в кафе, в кино, на танцы, или еще куда, а я с трудом наскребаю денег даже на школьный обед? Почему он привлекателен, а я некрасив и неинтересен, и на меня никто не обращает внимания? Почему одним в этой жизни выпало стать баловнями судьбы, а другим – терпеть нужду и лишения? Чем отличились эти баловни судьбы перед Всевышним? Чем заслужили они внимание фортуны? Господи, почему ты так милостив к одним, и совершенно слеп и глух по отношению к другим, точно таким же людям? По каким критериям ты определяешь, кто должен преуспевать, а кто страдать? Как это тяжело, не иметь возможности жить так, как хочешь! Как горестно осознавать, что тебе никто не хочет помочь!

Если бы я мог сейчас, каким-то образом, ответить себе прежнему, я бы сказал так: каждый человек – кузнец своего счастья. Счастье и достаток нужно заслужить, заработать. И если тебе при рождении в чем-то повезло, это еще не залог будущего успеха. Тому же Гребенюку ни привлекательная внешность, ни достаток родителей счастья не принесли. Жизнь у него явно не получилась. Так же, как и у меня, хотя у него была совершенно иная исходная ситуация. Нужно просто хорошо улавливать разницу между такими понятиями, как «дано» и «заработано».

Почему я тогда сошелся с этой Ленкой? Наверное, от безысходности. Если бы у меня была нормальная подруга, я бы эту драную кошку и на версту бы к себе не подпустил. Дружили мы с ней не так уж и долго, но вреда эта дружба принесла мне немало. Крайне неприятная особа! У нее даже фамилия была какая-то отвращающая – Котяхова.

Ленка жила в соседнем подъезде и происходила из семьи, которые принято называть неблагополучными. Ее родители регулярно пили, в их квартире постоянно случались драки. Мировоззрение, которое господствовало в их среде, отличалось примитивным цинизмом и полным превосходством материального над нравственным. Обстановка, в которой она росла, наложила на ее личность неизгладимый отпечаток. Ленка была вульгарна, развязна, властолюбива, эгоистична. Ей удалось на какое-то время весьма крепко привязать меня к себе. Она сделала это своими чисто женскими штучками. Я хорошо помню тот момент, когда она впервые прижала мою ладонь к своей груди. Тогда мне показалось, что я медленно возношусь в рай. Это чувство оказалось таким волнующим, что я весь задрожал. Я смотрел на нее с такой преданностью, с какой верующий смотрит в глаза святого. Я стал чувствовать острую нужду в ее обществе. Я был ею очарован, бегал за ней, как послушная собачонка, а она вертела мною, как хотела, и выжимала из меня все, вплоть до последней копейки.

Дружба с Ленкой внесла тогда заметные изменения в мой характер. Как положительные, так и отрицательные. Положительные – с точки зрения душевного равновесия. Отрицательные – с позиции развития, как человека. С одной стороны, я перестал чувствовать себя одиноким и никому не нужным. У меня появилась уверенность в собственных силах. Я стал ощущать себя личностью. Но при этом во мне одновременно стало развиваться какое-то глупое тщеславие, которое стало определять все мои поступки. Я нередко любовался на себя в зеркало, тренируя властный и снисходительный взгляд, что прежде было мне совершенно не свойственно. Я вдруг ощутил себя каким-то особенным. Я перестал воспринимать себя, как частицу своей семьи. Из меня всюю попер индивидуализм. Я искренне считал, что достоин гораздо большего по сравнению с тем, что я имел. А в постоянной нужде и недостатке, которыми была пропитана вся моя жизнь, я считал виновной исключительно свою мать. У нас с ней стали часто происходить конфликты. Я открыто обвинял ее в том, что она непутевая, что она не способна принести мне какую-то пользу. При этом я совершенно не брал в расчет, что это именно благодаря ей я появился на свет, и что это именно она меня вырастила, отказывая себе практически во всем. Но все это казалось мне мелочью, совершенно недостойной моего внимания. Я абсолютно не чувствовал, что чем-то ей обязан. Я ее ни за что не благодарил. Я ее только обвинял. Мать много плакала. Но ее слезы ничуть не трогали мое очерствевшее сердце.

Ленка с самого начала сделала из меня источник удовлетворения своих материальных потребностей. Собственно, именно для этого, в первую очередь, она и заводила со мной дружбу. Мне бы послать ее подальше, но тогда я совершенно искренне считал, что обязан заботиться о своей подруге любой ценой, как бы ни были скромны мои возможности. Я считал своим долгом исполнять все ее желания. Я стремился угодить всем ее прихотям.

О, эта юношеская наивность! О, это уродливо искривленное представление о рыцарстве!

Ленку абсолютно не волновало, где я беру деньги. Для нее было главным, чтобы они были. А уж откуда – это неважно. Ее нисколько не беспокоило, что я, ради того, чтобы что-то ей купить или куда-то ее сводить, отказывал себе практически во всем. Я даже перестал обе-

дать в школе и стойко терпел голод только ради того, чтобы положить в свою копилку лишние пятнадцать-двадцать копеек, которые мать ежедневно давала мне по утрам. Но на обеденных деньгах много скопить было, конечно, невозможно, поэтому я стал откровенно воровать. Я раз за разом, тайком, заглядывал в тощий кошелек матери и вытаскивал оттуда то рубль, то два, то три. Мать это, конечно, замечала, но ничего не говорила, боясь нанести мне душевную травму. Она только молча пыталась прятать кошелек. Когда в шкаф с бельем, когда за книгами, когда под ванную. Но я каждый раз благополучно его находил.

Так, всеми правдами и неправдами, всеми чистыми и нечистыми способами, я, в конце концов, собрал около ста рублей. По тем временам это была весьма неплохая сумма. Я жаждал блеснуть щедростью. Я не без гордости заявил Ленке, что скоро поведу ее в магазин одежды, где сделаю ей шикарный подарок. Как она тогда обрадовалась! Как мне это было приятно! Ослепленный своим первым юношеским увлечением, ради этой ее радости я был готов на все.

День, выбранный мною для похода в магазин, без преувеличения можно назвать проклятым. Это был еще один день, который мне всегда хотелось забыть и никогда о нем не вспоминать.

Помню, что мы договорились с Ленкой встретиться после школы в четыре часа дня. Когда время стало приближаться к намеченному, и я стал одеваться, с работы вдруг вернулась мать. От меня не укрылся ее расстроенный и озабоченный вид. В первый момент я не придал этому серьезного значения. Работа у матери была тяжелая, нервная. Она работала тогда кладовщицей на торговой базе и всегда возвращалась домой измотанная. Весь день на ногах, должность материально ответственная, так что в этом не было ничего удивительного. Но когда мать обессилено опустилась на диван и попросила меня сесть рядом с ней, я почувствовал, что у нее что-то случилось. И, судя по всему, что-то очень серьезное.

– Игорь, – тихо произнесла она, – мне нужно с тобой поговорить.

Ее встревоженные глаза не оставляли сомнений, что разговор будет не из приятных, поэтому я выполнил ее просьбу безо всякого удовольствия.

– Игорь, я не думала, что буду вынуждена обратиться к тебе с такой просьбой, – начала мать, нервно теребя пальцами. Она говорила отрывисто, с чувством неловкости, не решаясь сразу перейти к главному. – Родители, конечно, не должны обращаться с подобными просьбами к своим несовершеннолетним детям. Но у меня просто нет другого выхода. Сынок, ты уже не маленький ребенок. Ты уже превращаешься во взрослого мужчину, и я надеюсь, что ты меня поймешь.

Мать еще немного помолчала, словно собираясь с духом. Было очевидно, что ей нелегко дается этот разговор.

– Сынок, – сказала она, горько вздохнув, – у меня очень большие неприятности на работе. Меня обманули люди, которым я верила. У нас прошла ревизия. Она выявила недостачу. Недостачу повесили на меня. Я не могу доказать, что я ни в чем не виновата. Все документы свидетельствуют об обратном. Для того, чтобы эту недостачу покрыть, нужны деньги. Если я ее не покрою, на меня могут завести уголовное дело.

Мать опустила глаза и крепко стиснула руки. Костяшки ее пальцев побелели.

– Игорь, – тихо продолжала она, – я знаю, что у тебя есть деньги. Я не спрашиваю, откуда они у тебя. Но я знаю, что они у тебя есть. Сынок, мне они очень нужны. У меня есть кое-какие сбережения на книжке, но их не хватит. Поэтому я вынуждена обратиться к тебе.

Мать заметно побледнела. Ее лицо и голос выражали сильное напряжение. Она смотрела на меня неотступным просящим взглядом. Ее взгляд вызывал у меня чувство неловкости. Я видел, как смущала и угнетала ее эта просьба. Но, к своему великому стыду, я в тот момент думал не о том, как выручить свою мать. Я думал о том, что если сейчас отдам ей свои деньги, то не смогу сделать обещанный подарок Ленке. Да-да, подарок подруге был для меня тогда

важнее, чем помощь матери, попавшей в беду. Невероятно, но это так. Поэтому я притворился удивленным и, стараясь унять в голосе дрожь, произнес:

– Откуда у меня могут быть деньги? У меня нет денег. Копеек двадцать в кармане, и все. Мать напряженно смотрела на меня.

– Сынок, я не осуждаю тебя за эти деньги, – проговорила она. – Мне не важно, откуда они у тебя появились. Пойми, сейчас такая ситуация, когда мне нужно помочь. К кому же мне обратиться за помощью, кроме как не к собственному сыну.

Я почувствовал, что в моем рту пересохло, а к горлу предательски подступил ком. Мне было нелегко ее обманывать. Я понимал, что лгать в такой момент – это подло и низко. Ведь деньги, которые могли хоть как-то ее выручить, лежали в тот момент в кармане моей рубашки. Я нервно провел рукой по волосам, которые покрылись потом, и облизал засохшие губы. Отказаться в помощи матери, которая отдавала мне все, которая ради меня полностью жертвовала собой, было, конечно, ужасно. Но с другой стороны была Ленка со всеми своими прелестями.

– Нет, мама. Ты ошибаешься. Никаких денег у меня нет, – хрипло повторил я каким-то не своим голосом.

Я буквально сгорал от стыда. Я бессовестно лгал. И мать видела, что я лгу. Но меня это не останавливало. Я посмотрел в ее грустные, полные отчаянья глаза, и тотчас же отвел взгляд. У меня не было сил продолжать этот разговор. Я поднялся с дивана, вышел в прихожую и принялся обуваться.

Мой низкий обман, мое холодное равнодушие словно резанули мать со страшной болью. Она не могла верить, что я, ее сын, поступаю с ней так жестоко. Уголки ее губ задрожали, глаза покраснели, а по щекам поползли слезы. Она подошла ко мне.

– Сынок, мне очень нужны эти деньги, – почти умоляла она. – Если я не покрою недостачу...

Ее голос оборвался. Она смотрела на меня со страхом, в котором сквозил какой-то слабый лучик надежды. А вдруг во мне все же проснется что-то человеческое? Но ее надежды оказались тщетны. Я не смог больше терпеть столь сильное эмоциональное давление, и стал истерично кричать, заглушая этим криком негодование своей совести.

– Что ты ко мне пристала? Нет у меня никаких денег! Нет! Поняла? Не нужно было быть такой дурой! Ты всю жизнь была дурой! Поэтому и живешь в нищете! Проси деньги у кого-нибудь другого! У меня их нет! Все!

Мать ничего не сказала в ответ. Она только закрыла лицо руками и отвернулась. Я выскочил из квартиры и помчался по лестнице вниз...

Образ матери стоял у меня перед глазами. Словно она была сейчас здесь, в этой комнате, и с грустью смотрела на меня. В ее взгляде не было осуждения. В нем была только печаль, сочувствие и боль.

Меня стали пробирать негромкие, судорожные всхлипывания. В глазах защипало, и я уткнулся в подушку.

Мама! Милая моя, дорогая мамочка! Да, это я, твой непутевый и неблагодарный сын. Вот уже несколько лет, как тебя нет рядом со мной, а я за все это время ни разу не пришел на твою могилу и не принес тебе ни единого цветочка. Ну, ничего. Скоро мы с тобой встретимся, и я смогу повиниться перед тобой и попросить у тебя прощения. Мне так хочется надеяться, что ты меня простишь. Я только сейчас в полной мере осознал, как ты была одинока и несчастна. Как ты, не задумываясь, жертвовала своей жизнью ради того, чтобы был счастлив твой единственный сын. Сколько же я причинил тебе горя и слез!

Будь прокляты те деньги! Будь проклята та меховая куртка, которую я купил на них Ленке! Я помню, какие черные тогда наступили для нас времена, и как тебе приходилось тяжело. Твой кошелек совершенно опустел.

После того, как тебя уволили с базы, тебя долго не брали ни на одну работу. Кому была нужна проворовавшаяся кладовщица! И ты вынуждена была пойти работать в котельную, в компанию пьяниц и бывших уголовников. Днем – нервотрепка с ними, вечером – со мной. И как ты только находила в себе силы на такую жизнь?

Заметив, что у меня начались денежные затруднения и попытав их причину, Ленка тут же от меня упорхнула. Она вскоре завела себе другого ухажера, а на меня больше не обращала никакого внимания. Она предала меня так же, как я предал тебя.

Через четыре года она попала на продаже наркотиков и схлопотала тюремный срок. Что ж, я думаю, она получила по заслугам.

Временами я сильно сожалел, что тогда так по-скотски с тобой поступил. Порой у меня внутри что-то рушилось, рассыпалось в пыль, которая оседала на моем сердце и причиняла ему боль. На меня налетал порыв подойти к тебе и попросить прощения. Но я так и не решился этого сделать. Боялся проявить слабость.

О, эта глупая юношеская гордость! Я изо всех сил старался делать вид, что ни о чем не жалею и что я убежден в собственной правоте. А ты смотрела на меня и ничего не говорила. Наверное, надеялась, что с годами я поумнею.

Нет, дорогая моя, милая мамочка. Не оправдал я твоих надежд.

Глава пятая

Закончен десятый класс. Получен аттестат. Позади выпускной вечер. Впереди новая жизнь.

Первым этапом моей послешкольной жизни стала армия. Должен признаться, что мне категорически не хотелось туда идти. Я ее откровенно боялся. Ведь я совершенно не был к ней готов. Меня не отличала хорошая физическая подготовка. Я был нелюдим. Мне претила военная муштра. В общем, ничего хорошего от службы я для себя не ждал, и те два года, в течение которых мне предстояло выполнять свою «почетную обязанность», я заранее занес в однозначно потерянные.

Проблемы в армии у меня начались сразу же. Я еще не успел доехать до части, а мои отношения с будущими сослуживцами уже оказались напрочь испорченными. Произошло это как-то по-глупому, по-дурацки.

В вагоне поезда, на котором нас, новобранцев, везли к месту службы, стоял шум и гвалт. Все знакомились друг с другом, болтали о всякой ерунде, пели под гитару. Я не принимал участия во всеобщем оживлении. Я молча лежал на верхней полке и печально смотрел в окно. Мимо меня проносились леса, поля, озера, реки. И вместе с ними оставалась позади моя свобода.

Суматоха, царившая в вагоне, меня откровенно раздражала. Все, кто находился вокруг, казались мне тупыми и ограниченными. Я просто ужасался, что мне предстоит жить среди всего этого сброда. Особенно нервировал меня один дюжий рябой детина с размытыми чертами лица и крупным мясистым носом, который занимал соседнюю с моей полку. Фамилия его была Сморкачев. У меня как-то сразу зародилась к нему неприязнь. Его резкий, чуть хрипловатый голос был слышен всему вагону. Похоже, он абсолютно не умел говорить тихо. Его напористые манеры подчеркивали его чрезмерную самоуверенность. Видимо, он на полном серьезе полагал, что все, в обязательном порядке, должны быть такими как он: думать как он, вести себя как он. То, что было интересно ему, должно было быть интересно всем. То, что хотелось ему, должны были хотеть и остальные. Парень явно стремился к лидерству.

Меня раз за разом звали присоединиться к всеобщему веселью, но я только отмахивался и продолжал молча смотреть в окно.

Сейчас, когда прошло уже столько времени, понимаешь, что, может быть, это было и неправильно. Что не стоило так открыто и демонстративно отделяться и противопоставлять себя остальным. Что нужно было держать себя попроще, по-компанейски. Но в очередной раз приходится с горечью констатировать, что прошлого уже не вернешь. Его уже не исправишь. О нем остается только сожалеть.

В какой-то момент у Сморкачева появилась мысль, что неплохо было бы выпить. Он стал потихоньку, чтобы не услышал сопровождавший нас майор, который ехал в самом конце вагона, шушукаться с остальными и искать себе единомышленников. Единомышленники, разумеется, тут же нашлись, и Сморкачев принялся собирать деньги.

– Гони рубль! – бросил он мне, бесцеремонно толкнув меня кулаком в бок.

Этот толчок явился той самой искрой, которая взорвала скопившийся в моей душе порох.

– Пошел ты! – злобно огрызнулся я.

Сморкачев оторопел.

– Чего?

– Чего слышал!

Лицо Сморкачева вытянулось в недоумении. Он обвел глазами остальных, как бы спрашивая у них, что ему следует делать.

– Да отстань ты от него, – сказал кто-то. – Мальчик скучает по маме.

Раздался смех, заставивший меня покраснеть. Быть объектом насмешек всегда неприятно.

Сморкачев пожал плечами, окинул меня недобрый взглядом и отошел.

Водка была куплена, тайком принесена в вагон и украдкой выпита. Сморкачева развезло.

– А что это у нас там за деятель едет на верхней полке? – раздался его ироничный возглас. – Эй, ты, спускайся, поговорим.

Чувствуя, что назревает открытый конфликт, и желая его избежать, я промолчал. Авось, все утихнет само собой. Но не тут-то было. Мое молчание только еще больше раззадорило Сморкачева. Он поднялся и приблизил ко мне свое лицо. Меня обдало жутким перегаром, и я непроизвольно сморщился.

– Он мной брезгует, – усмехнулся Сморкачев, оглянувшись по сторонам, и снова посмотрел на меня. – Ты, что, думаешь, я тебя уговаривать буду? Тебе же сказано, слезай.

– Отвали! – сквозь зубы процедил я.

Брови Сморкачева картинно взметнулись вверх.

– Ты смотри, какой смелый! – с издевкой воскликнул он, обращаясь к приятелям.

Те тупо ухмыльнулись.

– Крутой малый, – развязно вставил один из них.

Сморкачев, ни слова больше не говоря, иронично вздохнул, поцокал языком, затем схватил меня правой рукой за шкуру, резко дернул на себя, и я слетел с полки, больно ударившись о стол. Раздался язвительный смех.

Не помня себя от ярости, я схватил пустую бутылку из-под водки, которая стояла на полу, и швырнул ее в Сморкачева. Тот увернулся, и бутылка угодила в окно. Раздался звон разбитого стекла, во все стороны полетели осколки, и в окне заияла внушительная дыра. Возле нас тут же собралась толпа.

– А ну, разойдись! Разойдись! – послышался зычный голос майора.

Это был высокий, худощавый мужчина средних лет с намечавшейся проседью в висках, с сильно вытянутым подбородком и жестким, суровым, свойственным любому военному, взглядом. Собравшиеся послушно расступились. Майор подошел к нам, посмотрел на разбитое окно и грозно спросил:

– Кто это сделал?

Сморкачев опустил голову и молчал. Все вокруг тоже молчали. Я поднялся с пола и сказал:

– Я.

Майор оценивающе посмотрел на меня.

– Но я только защищался, – оправдываясь, добавил я.

– От кого ты защищался? – спросил он.

Я показал рукой на Сморкачева и рассказал майору все то, что между нами произошло. Как Сморкачев с приятелями решили выпить, как я отказался присоединиться к ним, и как они стали мне за это мстить.

Пока я все это рассказывал, мой взгляд несколько раз падал на стоявших вокруг ребят. Они почему-то смотрели на меня с осуждением.

– Та-а-ак, – угрожающе протянул майор. – Я предупреждал, что за распитие спиртного буду наказывать?

Сморкачев и его приятели по-прежнему молчали.

– Пять нарядов вне очереди каждому, – рявкнул майор. – Отработаете по прибытии в часть.

После этого он снова посмотрел на меня. Но в его взгляде я не заметил ни оправдания, ни одобрения.

– А тебе, – сказал он, – придется заплатить за разбитое стекло. Следуй за мной к начальнику поезда.

Я покорно пошел за ним. В штабном вагоне на меня составили протокол, выписали штраф, который я тут же оплатил, после чего у меня вообще не осталось денег.

Когда мы с майором вернулись обратно, я, проходя по вагону, ловил на себе недружелюбные взгляды. Очевидно, мои будущие сослуживцы считали виноватым во всей этой истории именно меня. И я не мог понять, почему? Ведь я – лицо пострадавшее. Я ни к кому не лез. Это ко мне лезли. Я только себя защищал.

Как мне было ни тяжело ощущать витающую в воздухе враждебность, я не стал никому ничего объяснять. «С какой это стати я должен перед всеми оправдываться? – думал я. – Пусть думают обо мне все, что хотят! Плевать я на всех хотел!».

Оставшаяся часть пути прошла спокойно. Ко мне больше никто не приставал. Правда, со мной никто и не разговаривал. Меня откровенно сторонились, и я оказался словно изолированным в пустоте.

В последующем я не раз вспоминал этот эпизод. Я прокручивал его в памяти от начала и до конца, пытаюсь понять, почему после этой склоки все стали вдруг относиться ко мне с таким пренебрежением? Даже майор отводил от меня глаза. Я считал это несправедливым. Мне было обидно. Мне казалось, что такого откровенного бойкота заслуживал не я, а Сморкачев. Но, тем не менее, все почему-то обрушилось именно на меня. Меня сжигало чувство горечи. Я замкнулся, ни с кем не общался, и в результате, в скором времени, снова стал чувствовать себя изгоем. Так же, как и в школе.

Но так ли уж несправедливы были по отношению ко мне?

Прокрутим этот эпизод еще раз. С чего все началось? С банального тычка в бок: «Гони рубль!». Но разве этот тычок был сильным? Разве тон Сморкачева был оскорбительным? Он был непринужденным, даже дружеским. Но я был так угнетен разлукой с домом, что любое обращение к себе воспринимал в штыки. Может, Сморкачев просто хотел помочь мне расслабиться, а я на него: «Пошел ты!». Тут не только он, тут любой обидится.

Переходим к тому, что последовало дальше. Я разбил окно. Подошел майор. Спросил, кто это сделал. Как вел себя Сморкачев? Он стоял и молчал. Он не сказал, что это моих рук дело. Он стоял и молчал! И все остальные тоже стояли и молчали! Никто не указал на меня, хотя все видели, что окно разбил именно я. А что я? Я начал показывать пальцем на каждого из них. Мол, они виноваты; напились водки и дебоширят.

Да, теперь-то я понимаю, что действительно повел себя неправильно, и что в глазах остальных ребят смотрелся довольно неприятно. И, как ни горько это признавать, невзлюбили меня, действительно, справедливо.

После той стычки в поезде Сморкачев обозлился на меня не на шутку. Он не упускал ни одной возможности каким-то образом кольнуть меня или задеть. Наши с ним перепалки стали регулярными. Временами доходило и до рукопашной, успех в которой неизменно сопутствовал ему. Заступаться за меня никто не хотел. И мне ничего не оставалось, как мучиться в бессильной злобе.

Что и говорить, каждый день в армии стал для меня сродни аду. Но конфликты со Сморкачевым были не единственным, что служило этому виной. Мой душевный гнет усиливала и окружающая обстановка в целом.

Мне совершенно претила военная дисциплина, где я был обязан лишь тупо выполнять приказы командира, без малейшего права что-либо возразить. Мне была ненавистна казарма, в которой все было открыто, и нигде было спрятаться от чужих глаз. Я ощущал дискомфорт от строгого следования установленному распорядку: просыпаться и засыпать в одно и то же время, строем ходить на обед, в баню, на занятия, еще куда, и тому подобное. И что совершенно

меня убивало, так это физические нагрузки. Строевая ходьба, кроссы, упражнения на перекладине изматывали меня до крайности и выжимали до последней капли все мои силы.

Как-то раз, когда я проходил мимо штабного корпуса, меня подозвал к себе командир нашей части полковник Борисов. Это был уже достаточно пожилой, грузный мужчина с заметно выпирающим животом, с широким, чуть сплюснутым, носом и вечно лоснящимся, изъеденным оспинами, лицом. Он всегда держал себя жестко, решительно и властно, как, собственно, и подобает военному командиру. В части его все боялись.

– Зайди ко мне, – скомандовал он.

Я оробел. Зачем я мог понадобиться самому командиру части?

Я послушно последовал за ним, зашел в его кабинет и стал в по стойке «смирно», ожидая его распоряжений.

Полковник уселся за свой стол и снял с головы фуражку. Под фуражкой оказались жиденькие волосы, сквозь которые просвечивалась розовая кожа.

Так вот почему он никогда ее не снимает. Не хочет демонстрировать свою лысину!

Борисов вытер носовым платком вспотевшее лицо и поднял глаза на меня.

– Что ты вытянулся? – спросил он и кивком головы указал на стул. – Вольно. Садись, расслабься.

Я послушно сел.

– Что, нелегка солдатская жизнь?

Я молча пожал плечами, не зная, как следует отвечать в таких случаях.

– Я вижу, твои однополчане не очень тебя жалуют.

Я снова пожал плечами.

– Не расстраивайся, – произнес командир части. – В армии хорошо только дуракам. Умных ребят в ней всегда недолюбливают.

Борисов замолчал, словно ожидая от меня какой-нибудь реплики. Меня, конечно, поразило его откровение, но я опять ничего не сказал. Я лишь молча опустил голову и уставился на свои сапоги.

– Это хорошо, когда в роте есть хотя бы один серьезный, нормальный парень, – продолжал Борисов. – Мне такие ребята нужны. Нужны для того, чтобы контролировать обстановку и поддерживать дисциплину. Как ты думаешь, сможешь ли ты справиться с такой ролью?

Я в очередной раз недоуменно пожал плечами.

– Не знаю. Сомневаюсь, что меня кто-то будет слушаться.

– А тебе и не нужно будет никому ничего приказывать, – заметил полковник. – Мне нужен человек, который бы информировал меня обо всех случаях нарушения Устава, правил внутреннего распорядка, неблагонадежных настроениях, и прочее. Ты будешь общаться только со мной. Разумеется, знать об этом больше никто не будет.

Я похолодел. Я понял, куда он клонит. В обиходе это называлось «вербовать в «стукачи». Поначалу большого энтузиазма его предложение у меня не вызвало. Меня в части и так не жаловали. А если я стану еще и доносчиком, и это, ни дай бог, раскроется, меня вообще со свету сживут. Но затем какой-то внутренний голос стал мне твердить: а почему бы, собственно, и нет? Ведь сослуживцы отравляют тебе жизнь? Отравляют. И вот теперь у тебя появляется прекрасная возможность им за это мстить.

– Игорь, я бы не хотел, чтобы ты воспринимал мои слова с позиции уголовного, – мягко обратился ко мне Борисов, уловив мое замешательство. – Я знаю, что ты сейчас подумал. Тебе в голову пришло слово «стукач», ты примерил его к себе, и тебе стало неприятно. Ведь так? Скажи, не стесняйся.

– Ну, так, – робко признался я.

– Вот видишь, я словно прочел твои мысли, – улыбнулся командир части. – Но здесь ты не прав. И вот почему. Ты знаешь, что раньше служба в армии считалась почетной? И если

тебя вдруг по какой-то причине в нее не брали, это воспринималось как позор, как то, что ты – не настоящий мужчина. Все проблемы в армии начались в шестидесятых годах, когда в нее стали привлекать бывших уголовников. Они люди наглые, нахрапистые. Они принесли в нее свои принципы и понятия, которые, увы, прижились. И в результате армия утратила в глазах людей тот почет, который имела раньше. В армию теперь не стремятся. Ее теперь, наоборот, всеми силами стараются избежать. Ведь так?

– Так, кивнул головой я.

– Армия, в которой господствуют уголовные порядки, и в которой нет жесткой дисциплины – это не армия, а самый настоящий сброд. Такая армия недееспособна. Мы, командиры, всячески стремимся к тому, чтобы в наших частях существовал порядок. Но для того, чтобы его поддерживать, мы должны знать, кто и каким образом его нарушает. А кто нам в этом сможет помочь, кроме как не вы, солдаты? В разговорах про армию только и слышишь, что о «дедовщине». Но как мы можем избавить вас от «дедовщины», если вы сами же покрываете тех, кто над вами издевается? Информаторов не любят только мрази. Потому, что они их боятся. Информаторы не дают им развернуться на полную катушку. Нормальные люди, с нормальным мировоззрением, которые не нарушают закон, не отравляют жизнь других людей, которые понимают значение порядка и дисциплины, к информаторам относятся спокойно, потому что им нечего бояться, потому что они знают, что информаторы – это их защитники. Так что, Игорь, не надо смотреть на жизнь глазами уголовника и поддаваться чувству псевдотоварищества. Ведь ты не уголовник. Ты нормальный, порядочный человек. И если ты покрываешь нарушителя закона, ты, тем самым, поощряешь его на новые преступления. В том числе и на те, которые будут направлены против тебя. О твоих контактах со мной никто больше знать не будет. Главное, чтобы ты сам себя не выдал. Будь осторожнее. Я же со своей стороны постараюсь облегчить тебе службу. Ну, так как? Берешься за это дело?

Я задумался. За все время службы со мной еще никто не говорил так по-простому, по-человечески. За все это время я слышал в свой адрес только приказы, оскорбления, насмешки. Может я, конечно, был слишком сентиментален, но я действительно страдал от отсутствия обычного человеческого общения. Поэтому слова полковника меня растрогали. Может, он и прав. Мне, действительно, не нужно следовать принципам среды, которая меня отторгает.

Я принял его предложение и обязался регулярно сообщать, что я вижу и что я слышу.

– Вот и ладненько! – воскликнул Борисов и удостоил меня почтительного рукопожатия.

Положа руку на сердце, должен признаться, что сообщая Борисову обо всех проступках, допущенных моими сослуживцами, я получал от этого огромное удовольствие и наслаждение. Я перестал ощущать себя беспомощным и бессильным. Я уже не ходил по казарме, сгорбившись и опустив голову, боясь поймать на себе чей-то насмешливый взгляд. Мои плечи расправились, осанка выправилась, а глаза перестали выражать затравленность. Я смотрел на своих сослуживцев без всякой робости, уверенно и спокойно, потому что точно знал, что смогу их наказать за любое проявление недружелюбия в свой адрес. Я чувствовал над ними свою власть, наслаждаясь ролью эдакого «серого кардинала», который никому не ведом, но который как раз и решает, кого казнить, а кого миловать, кого «заложить», а кого не «заложить».

В один прекрасный день мне удалось расправиться и со своим главным обидчиком, Сморгачевым. И как расправиться! Расплющить его одним махом.

Поначалу я вспоминал этот эпизод со злорадством и торжеством. Но затем, много позднее, когда меня самого подставили примерно таким же образом, меня охватило раскаяние, и я стал чувствовать глубокий стыд.

В тот день я был дежурным. Вся наша рота грызла гранит военной науки в учебном корпусе, а я в полном одиночестве шуровал шваброй в казарме.

Вдруг послышался топот чьих-то бегущих ног, и в дверь влетел запыхавшийся Сморгачев.

– Моешь? – спросил он, увидев меня. – Ну, мой, мой.

Тон его был дружелюбным, без обычной издевки. И этому было свое объяснение. Несколько дней назад наш командир перед всем строем объявил, что Сморкачев за высокие показатели при сдаче норм ГТО премируется отпуском домой. И завтра он должен был отправиться на десятидневную побывку. Естественно, Сморкачев пребывал в благодушии, а в таком состоянии вряд ли потянет с кем-то ссориться.

Он подбежал к своей тумбочке, вытащил из нее какую-то тетрадку и, больше ничего не говоря, выскочил из казармы.

Во мне вспыхнула зависть. В моей душе начали вовсю куражиться бесы. Почему отпуском премирован он, а не я? Мне мучительно захотелось, чтобы отпуск у Сморкачева сорвался. И я стал ломать голову, каким образом я смог бы этому поспособствовать.

Возникшая у меня мысль шла вразрез со всякой нравственностью. Но это меня не трогало. Определяющим для меня явилось то, что она была эффективной. Хотя и рискованной. Если меня вдруг кто-то увидит, беды не миновать. Но, чтобы отомстить своему недругу за все нанесенные им обиды, я был готов на все. Если Сморкачев исчезнет, мне явно станет легче дышать. Так что игра стоила свеч. Я собрался с духом и решился.

Положив швабру на пол, я подошел к своей тумбочке и достал из нее перочинный ножик, который был необходим мне для осуществления задуманного. Выглянув в окно и убедившись, что к казарме никто не идет, я осторожно подкрался к двери комнаты прапорщика Коцюбы. В отличие от остальных командиров, прапорщик Коцюба жил в нашей казарме, хотя и отдельно от нас. Объяснялось это просто. В офицерском корпусе мест на всех не хватало, поэтому туда селили только семейных. А прапорщик Коцюба был холостым. Вот почему ему отвели место рядом с нами.

Я давно уже заметил, что замок в этой двери был ненадежным. Дверь примыкала к проему неплотно, поэтому, если изловчиться, щеколду замка вполне можно было бы сдвинуть какой-нибудь отверткой или ножом сквозь образующуюся щель. Я просунул нож в зазор и поддел щеколду. Щеколда поддалась. Дверь открылась, и я очутился в комнате прапорщика. Мои глаза стали лихорадочно бегать в поисках какой-нибудь существенной вещи, пропажа которой не могла бы остаться незамеченной. Мой замысел был прост. Что-нибудь украсть, подбросить украденное в сумку Сморкачева, а затем каким-то образом сориентировать Коцюбу, где искать пропажу.

Мне несказанно повезло. Прапорщик не отличался аккуратностью, и все его вещи были разбросаны по комнате в страшном беспорядке. А на столе, – я даже сначала не поверил своим глазам, – совершенно открыто лежал засунутый в кобуру пистолет. Это было табельное оружие Коцюбы. Один бог знает, почему он оставил его здесь и не сдал, как полагается, после наряда в оружейную комнату.

Благодаря фортуна за такую удачу, я вытащил пистолет из кобуры, обернул его в висевшее на спинке кровати махровое полотенце, и вышел из комнаты, захлопнув за собой дверь. Оглядевшись по сторонам, чтобы убедиться, что меня никто не видел, я подскочил к кровати Сморкачева, вытащил из-под нее уже собранную им дорожную сумку, расстегнул «молнию» и засунул пистолет в самый низ, на самое дно.

Застегнув «молнию» обратно, я снова задвинул сумку под кровать. Теперь Сморкачеву не отвертеться.

Предвкушая то представление, которое должно было разыгаться сегодня вечером, я принялся домывать полы.

Мой расчет оправдался на все сто. Мы готовились к отбою. Кто-то дремал, кто-то писал письма родным и друзьям, кто-то бесцельно слонялся по углам, кто-то резался в карты. Я лежал на кровати, заложив руки за голову, и с нетерпением ждал появления прапорщика.

Наконец он пришел. Коцюба, как обычно, был навеселе и пошатывался из стороны в сторону.

– Ну что, морды? – грозно крикнул он с порога....

Наверное, стоит рассказать о нем поподробнее. Прапорщик Коцюба являл собой весьма забавный в своем роде персонаж. Это был маленький, щупленький мужичишко, похожий на Сталина, большой любитель выпить и погулять. Как и многие другие люди его комплекции, он испытывал определенный комплекс от своего роста, и всячески старался его заглушить, изображая из себя строгого командира. Кричал он на нас часто, но совершенно беззлобно. Если поначалу его выпады внушали нам некоторое напряжение, то затем мы к ним привыкли, уяснили, что раздаются они просто для острастки, для поддержания имиджа, и реагировали на них со снисхождением. Прапорщик Коцюба нас больше забавлял, чем пугал.

– Ну что, морды? – крикнул он, глядя на нас мутными, красными глазами. – Опять дебоширите?

– Никак нет, товарищ прапорщик! – весело откликнулся кто-то. – Готовимся ко сну.

– Да? – недоверчиво произнес Коцюба и погрозил пальцем. – Смотрите у меня.

– Так точно, товарищ прапорщик! – раздался тот же голос.

Коцюба достал из кармана ключ, с третьей попытки попал им в замочную скважину, открыл дверь и скрылся в своей комнате. По казарме пробежал приглушенный смешок.

У меня перехватило дыхание. Начинается!

Постаравшись придать своему лицу выражение полной отрешенности и безучастия, я стал ждать, что последует дальше.

Не прошло и пяти минут, как прапорщик Коцюба пулей вылетел обратно и с беспокойством оглядел нас. Казалось, что весь хмель выветрился из него в один момент. Его лицо выражало столь неподдельный испуг, что все изумленно смолкли.

Коцюба еще раз молча обвел нас глазами, запер свою комнату и выбежал из казармы.

– Что это с ним? – изумленно спросил кто-то.

Видеть нашего бравого прапорщика таким взволнованным нам доселе еще не приходилось. Все недоуменно переглядывались и пожимали плечами.

Спустя некоторое время Коцюба вернулся. Он был бледен, как полотно. В казарме воцарилась напряженная тишина.

– Кто сегодня дежурил? – рявкнул он.

Я вскочил с кровати и дисциплинированно принял стойку «смирно».

– Рядовой Смирнов!

Прапорщик грозно оглядел меня с головы до ног и сквозь зубы процедил:

– Следуй за мной.

Вся рота с любопытством смотрела на меня. Все терялись в догадках, в какую я угодил историю.

Изобразив на лице недоумение, я последовал за прапорщиком.

– А что случилось? – простодушно спросил я, когда мы вышли из казармы.

Прапорщик ничего не ответил. Он привел меня к командиру части. Помимо Борисова, в кабинете сидел еще наш замполит, майор Полонец. Лица у обоих были встревоженные.

– Рядовой Смирнов по вашему приказанию..., – приложив ладонь к виску, стал рапортовать я, но полковник меня перебил:

– Ты сегодня был дежурным по казарме? – строго спросил он.

– Так точно, – ответил я.

– Зачем ты заходил в комнату прапорщика?

– Я туда не заходил, – ответил я, чувствуя, что мои щеки начинают предательски краснеть. Неужели меня все же кто-то видел? Или я оставил в комнате какой-то след? – Как я мог туда зайти? Она же заперта.

- А ты не видел, чтобы туда кто-то заходил? – спросил замполит. – Кроме Коцюбы.
- Нет, – ответил я.
- Ты днем все время был в казарме? – спросил Борисов. – Никуда не отлучался?
- Все время, – ответил я. – Правда, несколько раз выходил наружу, чтобы отдохнуть и подышать свежим воздухом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.